

ЖЁЛТОЕ НА ЧЁРНОМ

Рассказ

Жёлтое на чёрном

Тетя Шпринца любит танцевать на столе.

На щеках ее трогательные ямочки, розовый кончик языка между коралловыми губами – и смешной рыжий завиток на затылке.

На лбу – жемчужные бисеринки влаги, тетя Шпринца движением локтя смахивает упавший на глаза локон, – уперев крепкие руки в бедра, она выкидывает колени, задорно поглядывая на гостей, – мужчины краснеют и дружно отбивают ладони, притопывая и подталкивая один другого локтями, – Шпринца танцует на столе, и оттого всем видны кружавчики на ее панталонах и перетянутая резинкой алебастровая кожа рыжей и веселой женщины, которая до смерти любит танцевать.

Тетя Шпринца смеется, откидывая голову назад, – шея ее выгибается, горлышко трепещет – от ямочек ее сходят с ума взрослые женатые мужи в сюртуках и шляпах, с крепкими животиками и совершенно живыми глазами, – их жены, широкобедрые, плодородные, похожие на больших носатых птиц, передвигающихся грациозно и вальяжно в сопровождении бледных отпрысков, – чахлогрудые, тонкорукие девушки, вздрагивающие от стука в дверь и зычного мужского окрика, – они любят Шпринцей с плохо скрываемым недовольством, от них разит прошлогодними духами и нафталином, поры на бледной мучнистой коже забиты пудрой: они мало бывают на воздухе – только пугливо пробегают вдоль стен, пропитанных страхом и сыростью, – солнечный луч робко скользит по задвинутым ставням, но никогда не проникает внутрь.

Когда еврейя весело – они танцуют на столах со сдвинутыми напрочь скатертями и посудой; Шпринца щелкает пудреницей: помада у молодой девушки должна быть алого цвета – ни в коем случае не бордо и не роза, особенно если у девушки этой дымчато-серые, подведенные черным, глаза, безупречная линия рта, чуть капризного, со вздернутой верхней губкой – и кожа такой ангельской чистоты, на вид прохладная; когда Шпринца рядом, мне хочется дотронуться до ее щеки ладонью, но я только смотрю на нее, и язык прилипает к небу; в глазах ее прыгают шальные зайчики, своей маленькой властной пятерней она треплет меня по затылку и вдруг порывисто прижимает к груди и шепчет что-то, ох, matka боска, какой у меня племянничек, – круглая брошь царапает мне подбородок, я краснею, вырываясь из цепких рук.

Маневичи жили на Налевках – а мы на Маршалковской, недалеко от Венского вокзала, не так уж далеко, но виделись редко – только на свадьбах, годовщинах и юбилеях, наша семья всегда придерживалась традиций, а вот Шпринца и Шимек Маневичи, одинаково рыжие, одним своим резким смехом и солеными шуточками нарушали стройность и упорядоченность вечерних трапез Гофманов, семьи моего отца.

С Маневичами мы сблизились уже здесь, в Налевках; пока отец мой оплакивал библиотеку и остающийся в доме рояль покойной матери, Шимек вносил в комнату промасленные свертки и, пошептавшись о чем-то с мамой, исчезал надолго, на всю ночь, а то и несколько дней, и возвращался, опасно сверкая глазами, и пахло от него сигарами, музыкой, вином – запах этот казался запахом жизни, – отец кашлял и неодобрительно морщился, но не выдерживал – и ел, ломая худыми пальцами хлеб, и несмело захватывал ножом кусочек масла, мама все чаще вытаскивала продолговатую шкатулку из слоновой кости, а Шимек хлопал себя по карману и щелкал каблуками, и опять уходил в ночь – теперь уже не один, а под руку с Шпринцей: в комнату врывалось облако терпких духов, Шпринца долго вертелась на каблук у скрипучего комода, в ушах ее блеснули прозрачные сережки – откуда сережки, зачем сережки, – отец с упреком смотрел на свояченицу, а мама обнимала ее плечи, и тут я замечал, как они похожи, моя мама и Шпринца, только Шпринца рыжая и веселая, а мама – темно-каштановая и печальная.

Ровно в семь запирались ворота, но счастливицам удавалось выскользнуть из душного мирка растрепанных старух, не приспособленных к новой жизни растерянных женщин и их мужей; проще было тем, кто в праздничные дни накрывал столы сбереженными скатертями, желтеющими на сгибах, с запахом чистого белья и достатка, – на них ставились подсвечники, за ними нараспев читались молитвы, и жалкие трапезы превращались в вечера: борода профессора Малиновского светилась благообразной сединой – за субботним столом он мало чем отличался от скобара Шульмана, во всяком случае, бороды их были совершенно одинаковыми, хотя известный профессор-уролог даже вареный картофель разрезал тонким ножом, а легко краснеющий вертлявый Шульман елозил вилок по тарелке, обильно посыпал картофелину солью и отправлял ее в рот.

И запивал сладким вином.
Лехаим!

Возвращается Шпринца под утро, крадучись, прижимая лаковые туфельки к груди, повернувшись спиной к сопящей носами малышне – Елке и Роману, – как змеиную шкурку скатывает платье к бедрам, переступает через него стройными ногами, я вижу ее гибкую спину – в темноте не видны веснушки на плечах, – от волнения я крепко зажмуриваю глаза – не спишь, Аншел? – горячее дыхание щекочет лоб, сердце мое бьется гулко, на всю комнату – еще чуть-чуть, и родители проснутся, – Шпринца кладет руку мне на грудь и улыбается, я почти не вижу ее лица, а улыбку – вижу, – спи, курче... спи...

Курче – это я, Аншел Гофман, воспитанный мальчик в прошлогоднем гимназическом пиджачке, пальцы мои истосковались по чёрным и белым клавишам, а небо – по вкусу эклеров в маленьком венском кафе, каждый день я проигрываю гаммы и даже этюды по крытому клеенкой кухонному столу – там, в доме на Маршалковской, остался рояль моей бабушки, а на пюпитре – раскрытые ноты, это фуги Баха – интересно, кто касается сейчас отполированных временем клавиш, кто вытирает пыль; наш дом остался где-то там, в другой жизни, а в этой – есть эта маленькая комната и осунувшиеся лица родителей, и позорное чувство голода, и чужие, абсолютно чужие люди вокруг – даже не родственники, и спертый воздух уборной, и эта ночная улыбка моей – смешно сказать – тети Шпринцы, и терпкий запах ее духов, и желтая звезда на маленьком черном платье.

Когда евреям весело, они танцуют на столах, а лучше всех танцует моя тетя Шпринца – в последний раз она танцевала на свадьбе Юлека и Златы, а усталые небритые мужчины хлопали в ладоши; поздней ночью Юлека и Злату увезли, и

вместе с ними еще человек двадцать; на следующий день Шимек заперся с мамой и отцом в комнате – они долго спорили, и до меня долетали обрывки фраз: «протитутка – нет – уцелеть – рояль – убирайся – успокойся – ни за что», – а еще через два дня я вдыхал воздух ночной Варшавы – мы ехали минут двадцать, даже меньше, – Шпринца крепко держала мою руку в своей, и я почти не волновался.

Удачный день Зямы Гринблата

Зяма Гринблат делает гешефт.

Летом – на жаре, зимой – на дровах; Зяма Гринблат, маленький человечек в кашне и штиблетах на босу ногу, – человек дела.

Зяму знают все.

Здесь, за кирпичной стеной, оплетенной колючей проволокой, – желтокожие старухи с дрожащей пленкой век, бормочущие что-то безнадежное, кутающие невымытые шеи в разодранные шали; им нечем платить за хлеб и дрова, что толку – они умеют стряпать чолнт, кугл и гефилте фиш – что толку, – длинные столы остались далеко, а от подола несет плесенью, за пазухой вши; где горячая ванна, где субботняя курочка, жирненькая, с хрустящим крылышком; где зятя и дочери, где заботливые мужья, под крылами – пусто; дряхлое тело еще отбрасывает бесполезную тень, вскидывающую локти привычным движением, накрывающую голову ладонями; оно не держит тепла, но цепляется за жизнь скрюченными пальцами – право, смешные эти еврейские старухи; им не повезло, на них жалко пули, от сквозняка у них останавливается сердце – медленно ползут они вдоль стен, и видит Б-г, только Зяме Гринблату до всего есть дело, он всюду сует свой нос, дай Б-г ему здоровья, маленькому Зяме с бегающими глазами и распухшими суставами рук;

ему бы сидеть в тепле, так нет: он носится по слякоти, по своим неотложным делам, а когда Зяма делает удачный ход, то кому от этого плохо, я вас спрашиваю, кому, если парочка-другая старух заснут если не сытыми, то хотя бы не плачущими от голода;

коротенькими ножками Зяма перескакивает лужи, кучи гниющего мусора – вот свинство, куда смотрит еврейская полиция, эти охламоны в щеголеватых фуражках и повязках, эти мерзавцы, лижущие зад Юзефу Шеринському, этому поганому выкресту, а то и самому Чернякову; им понравилось размахивать дубинками и делать важные лица, хватать зазевавшихся дурачков и отчитываться перед юденратом о проделанной работе.

Во все времена люди остаются людьми, они хотят кушать с тарелок и спать на перинах, мужчины остаются мужчинами, а женщины – женщинами;

жены продолжают изменять мужьям, мужья – заводить любовниц; скажите, пожалуйста, Рейзл, эта маленькая дрянь, – она прячет виноватые непросыхающие от распутства глаза, она тянет его за рукав – скажите, пожалуйста, – ее волнуют помада, румяна и новый лифчик, не может она ходить в старье;

Зяма все понимает, у Зямы нет вопросов, для чего Рейзл новый лифчик, – Зяма знает жизнь, всю жизнь он носит яички, пару теплых яичек для своей старухи, для Голды, а еще кусочек вареной курочки: пока Зяма жив, Голда будет кушать, а у Рейзл будет лиф и помада; пусть они все передерутся и перестреляют друг друга – шмальцовники и жандармы, синие и желтые, поляки и евреи, Ауэрсвальд с Ганцвайхом, молодчики из гестапо и brave ребята с Лешно, 13 – пусть все они сожрут друг друга и перестреляются из-за еврейского золота, белья, мебели, фарфора, хрусталя, пусть они сдохнут, перетаскивая мешки с зерном и сахаром, хлебом и свечами, – но прежде чем они сдохнут, они успеют накормить маленького Зяму Гринблата с его старухой, и дадут заработать на новый лифчик этой

девочке с беспутным чревом, ненасытной Рейзл, этой маленькой блуднице с горящим взором и адовым пеклом между ног.

Идет война, но люди остаются людьми: немые руки попрошаек – и Сенная с ее добротными домами, театрами и ресторанами, с разодетыми дамами и их мужьями, не утратившими живости взгляда, – они ходят в театры и кушают с золота, и дают на чай, они оглаживают холеные бороды и бритые щеки, они целуют дамам ручки и приподымают котелки в поклоне – они еще не отвыкли от хороших манер, они бранят детей за невыученный французский и расстегнутый воротничок, они покупают спокойствие и платят звонкой монетой; польские жандармы еще лебезят и кланяются, но уже подсчитывают и делят, а жизнь идет, и шьются новые платья, под оглушительные звуки музыки из «Эльдорадо» или «Фемины», – и вежливы официанты, а кто не любит идиш, для того спектакли по-польски – в «Одеоне» и конкурс на самые изящные ножки – в «Мелоди-палас»...

Война идет, но люди остаются людьми – немец тоже живой человек: его душа жаждет праздника, он слушает оперетту и плачет от скрипки, ему надоели серые безучастные лица и детские ручонки над головами, ему надоели разборки между поляками и литовцами, он тоскует по фатерлянду и рождественским подаркам, по немецкой матери и своей белокурой фрау – он пишет письма, напивается вдрызг и становится особенно опасным, – и тогда маленький Зяма Гринблат, бегущий вдоль кирпичной стены, такой нелепый в штиблетах на босу ногу, с оттопыренными карманами и заросшим седой щетиной лицом, может стать удобной мишенью и небольшим развлечением для тоскующего по родине Курта, Ханса или Фридриха.

Птица Боаз играет в войну

(Под люлькой моего малыша стоит золотая козочка, эта козочка отправилась торговать изюмом и миндалем. Колыбельная.)

Эля Шварц – счастливая мать.

Переле родилась красавицей. Иудейской принцессой. Откуда, скажите на милость, у Шварцев из Юзефова оливковая кожа и прикрытые тяжёлыми веками черносливовые глаза? И ресницы – отбрасывающие густую тень на атласные щёчки?

И зажатые в кулачок пальчики: указательный, маленький, средний, безымянный...

Эля смеётся и пытается ухватить губами мизинчик на ножке Перл...

Перл¹ – Переле – жемчужинка. Втихомолку сидела себе в животе и вышла как положено, головкой, – точно в срок; когда старая Нехама приложила её к Элькиной груди – только для виду покрутила кнопкой носа и вцепилась дёснами, будто кто-то её этому учил...

Способный ребёнок – носатая тень старой Нехамы смешила Эльку, старуха суетилась и ворчала – для виду, конечно, – поправляя съехавший платок и улыбаясь в сторону: тыфу-тыфу, не сглазить бы, – печально вздыхала и кивала головой, ей всё казалось, что судьба одной рукой даёт, другой – отнимает, девка совсем спятила: с утра до поздней ночи воркует и стонет, как голубка, ай, наши ножки, ай, наши ручки, ай, какие мы важные, ай какая у Переле грудка, ай, какая пися – тыфу, вот дура, – Нехама сердито громыхала ведром, кряхтя, носила воду и, подоткнув юбку, мыла пол: в еврейском доме должно быть чисто, ни паутинки тебе, ни

¹ Жемчужина (*идиш*).

пылинки – раскоряченные ноги в лиловых венах ещё больше смешили глупенькую Элю, облокотясь на подушки, придерживая ладонью грудь – не навредить бы малышке, она проводила языком по воспалённым губам: всё время хотелось пить, и молоко всё прибывало, сладкими ручейками стекало и разбегалось дорожками – приходилось пихать в лифчик тряпки и, бог ты мой, сцеживаться в баночку, свесив спутанные иссиня-чёрные косы, – старуха проворно подставляла другую и уносила тут же соседке – прикармливать семимесячного недоношенного мальчика.

Эля Шварц – счастливая мать. Тёплые ручейки растекаются по телу, оставляя липкие белёсые следы: молоко всё прибывает, и конца этому нет, а Перл-жемчужинка дремлет на подушке, глаза закрываются – чёрт бы побрал Нехаму с её ведром, – Элькина щека касается подушки, ей снятся молочные реки и кисельные берега.

* * *

(...Была когда-то история, совсем-совсем невесёлая, эта история начинается с еврейского короля... Уличная песенка.)

Ой, я таки не выдержу, – Сима Чижик была темпераментной женщиной, с овечьим вытянутым профилем и рыжеватыми колечками на висках и подбородке, – у неё не хватало переднего зуба, и время от времени, спохватившись, она плотно припечатывала ладонью рот – ой, держите меня, у Симы Чижик было большое сердце и длинный язык, от её бесконечных стенаний и упрёков муж, лежебока и бездельник, лишь выразительно крутил пальцем у виска и сплёвывал под ноги: давно прошли те золотые денёчки, когда миловидная языкатая Симочка, потупившись, отводила еще нежные свои ладошки от полудетской груди, и от вида торчащих розовых сосцов у Абрашки Чижика темнело в глазах и мутился рассудок – маленькая Сима стиснула в кулачке его упрямое сердце, и овладела его душой, один за другим в душевной спальне зачинались их дети: Рохл, Эстерка, Давид, Шейндл – ну и, конечно, младшенький, мизинчик, ясноглазый мальчик с двумя макушечками, счастливчик Боаз, – ой, он таки загонит меня в гроб, – никто уже не упомнит, когда вырос этот мерзавец, чтоб он был мне здоров, когда этот ангелочек, яростно рвущий материнскую грудь пухлой ручонкой, обратился таким шельмецом с приклеенной к нижней губе папирской, он таки пошёл в отца, этого засранца и бездельника, говорила мне мама, это дурная семья, дурная кровь: сначала он ободрал все штаны о соседские заборы, и оборвал все яблоки и сливы в соседских садах, а потом – потом он перетискал всех соседских девчонок – гвалт, люди, столько позора на мою голову, а теперь он торгует палёным товаром, он связался с этой нечистью, он водит в дом этих шикс – его не волнует суббота, его не волнует шабес, в доме пахнет разорением и стыдом, а его папаша, старый идиот, целые дни сидит на лавочке, чешет языком и греет старые кости...

Бедная Сима и не подозревала, как далеко зашло её сокровище, её ненаглядное золото: если с Анелей, горничной Кислевских, его не раз видели и на Слизкой, и на Хмельной, и даже, Б-г простит, на еврейском кладбище – то ни одна живая душа не держала свечку в роскошной спальне вдовы зубного техника Перчика Мирьям Перчик, полногрудой, волоокой, слегка перезревшей дамы с явственным пушком над хищно вздёрнутой верхней губой, и никто не видел, как лёгкая тень Птицы промелькнула в окошке одной почтенной женщины из набожной семьи, этакой домоседки и скромницы, тссс... – Сима с тревогой вслушивалась в ночные шорохи и облегчённо вздыхала, когда, наконец, хлопала входная дверь, и от шлёпанья босых ног по полу долгожданный покой овладевал её измученным сердцем

– после ночных сражений мальчик возвращался голодным, и потому на обеденном столе его всегда ждала тарелка с ужином, целый день без горячего, так и до язвы недалеко, типун мне на язык – Сима со вздохом переворачивалась на другой бок, – утром мальчишка наскоро выдувал полную кринку молока и опять уносился по своим неотложным делам..

* * *

Боаз Птица играет в войну.

Там утро, здесь ночь, здесь – свои, там – чужие, сегодня так, завтра – только Б-г знает, впрочем, знает ли?

Что ты понимаешь, философ, своим кошачьим умом, за накрытым столом – бородатые евреи, знаешь ли, о чём думает ребе, когда остаётся один, – за минуту он улетает на небо и там вкушает вечернюю субботнюю трапезу...

угостить караул папироской, хлопнуть по медвежьему плечу туповатого Стася или Войтека, или законопослушного исполнительного Гребке – Стась топчется у ворот, ожидая смены, а жрать-пить охота, а еще девку, горячую такую оторву, и чтоб всё было при ней, – пятернёй Боаз отбрасывает непокорную волну цвета мокрой пшеницы, взлетая, она пружинит и распадается на пряди, а на губах вечно налипшая соломинка, и взгляд из-под торчащих стрелами ресниц – нагловатый, самоуверенный, такому невозможно отказать;

пусть ребе бормочет свои молитвы и раскачивается из стороны в сторону – пока он поверяет свои торопливые просьбы Господу, Боаз угощает охранника, и его сменщика, и сменщика его сменщика – он не скупится на хлопки и папироски, и в карманах у него не только пачка сигарет – разве можно отказать Боазу Птице, косящему отчаянным серым глазом.

(Была у меня мамочка, она меня учила: будь лишь хорошим и набожным, и не мудрствуй лукаво, дождик-дождик, а я маленький еврей, и я промок под дождём, – не мудрствуй лукаво...)

* * *

И влажной раной была её улыбка, а в зубах она сжимала алый цветок, и уже не Шпринца звали её, а Джин Харлоу или Марика Рёкк, – и где-то там, в освещённых софитами залах платиновой волной блистала Марлен Дитрих, а здесь, на пыльных подмостках, под свист и улюлюканье, улыбаясь пьяным полицаям, упирала маленькие белые кулачки в стянутые гжучим шёлком бёдра моя тётя Шпринца, и пальцы мои не попадали по клавишам, потому что господа немецкие офицеры, панове, польские полицаи, ребятки из юденрата, пьяные в дым, вдруг цепенели и напряжёнными мутными зрачками водили по молочно светящимся икрам с высоким подъёмом, – Дина Дурбин отводила золотую прядь со лба и улыбка её, дьявольски непереносимая, поджигала огрубевшие мужские сердца и раздувала в них пламя – и краешек платья полз вверх, обнажая точеное колено, и округлую ляжку – а я видел позвонки на её напудренной спине и родинку на затылке – Боаз Птица набрасывал шаль на покатые белоснежные плечи Дины Дурбин, Боаз смотрел на Шпринцу, а Шпринца смотрела на Боаза, и длилось это мгновенье, бокал вина она прикладывала к пересохшим губам и, пританцовывая, шла в зал, не переставая сверкать глазами и раздавать воздушные поцелуи, – в залитых шнапсом и зубровкой глазах господ офицеров и нижних чинов отражались сотни маленьких лукавых Дин, – как ты, курче, вполоборота, едва слышно произносила она, – и даже не слова, а так, дуновение, – и пальцы мои разбегались по клавишам, а моя тётя Шпринца – нет, уже не тётя, а блистающая Надя Шторм – пробиралась к столику и, подхватив подол платья, садилась, высоко закинув ногу в прозрачном

чулке, и тут же с десяток зажигалок – о, прошу, пани, – колечки дыма из густо крашенных губ и трепещущих ноздрей, а Боаз Птица, темнея серым глазом, кивал расторопному официанту, худому носатому сербу, – еще... Мирко... еще...

* * *

Девочки, танцующие на идиш, – вертлявый человечек, прижимая пухлые руки к груди, пятится задом, мне видна его круглая спина и потный гладковыбритый затылок.

Девочки, танцующие на идиш, повторяет он растерянно по-немецки, а потом – по-польски, в зале становится совсем тихо, слава Б-гу, никто не заметил оплошности: взвизгнула скрипка, а я всё медлю – плечи мои сотрясаются от идиотского смеха, наконец, прыгающими пальцами я ударяю по клавишам: стайка девочек с ярко накрашенными ртами на бледных лицах, в трико телесного цвета, рельефно обозначающем каждую впадинку и складку, – смешинка попала мне в глаз, я слепну и плачу... и смеюсь... маленькие девочки поют свои сладкие песенки, смешно двигая ручками и худыми ногами, – Боаз Птица стоит у стены – и смотрит на сцену невидящими глазами, а известная каждому дураку в Варшаве Надя Шторм медленно подымается по крутой лесенке, а за ней, пошатываясь и хватаясь за поручень, придерживая кобур у бедра, тащится вислозадый Гребке.

Смешинка попала мне в глаз – пальцы беспорядочно ударяют по клавишам, пока девочки, умилительно отставляя крошечные задки, поют свои глупые песенки на идиш, плечи мои вздрагивают и трясутся – я не думаю, совсем не думаю о том, что меж раскинутых белых ног моей тётки Шпринцы бьётся будто припадочный Фридрих Гребке, а у стены стоит мрачный Птица, усмехаясь кому-то свинцовым глазом из-под чёлки, – плечи мои подрагивают от беззвучного смеха, ведь я еще не знаю, что в этот самый момент в окнах дома номер семь на Налевках зажигаются огни, мои родители спускаются по полутёмной лестнице во двор, и мама кутается в шерстяной платок, а папа, покашливая, придерживает её под локоть, – ничего, Эсти, тихо произносит он, ничего, – папа крепко сжимает в руке маленький чемоданчик, а у стены дома уже стоят притихшие соседи, папа растерянно кивает почтенному профессору Малиновскому, ему неловко мятой сорочки, – я ведь еще не знаю, что в этот самый момент крепкие руки Шимека спускают в открытый канализационный люк Романа и Ёлку, а за ними – еще пятерых девчонок глухого Зисла, а после Шимек спускается сам, а на руках его дышит сладким молоком маленькая Перл, иудейская принцесса; она не заплачет ни разу, до самого конца, а по другую сторону тоннеля – её примут руки голубоглазой Анели из Жолибожа.

Смешинка попала мне в глаз, но я продолжаю играть – слащавые песенки и мазурки, а Боаз Птица улыбается мне из зала, держись, мол, малыш, где наша не пропадала, – ведь он не знает, что в эту самую минуту ворчливая Сима Чижик, всплеснув истёртыми многолетней стиркой руками и коротко вскрикнув, шагнёт в вечность, чтоб быть поближе к своему своенравному и непримиримому Б-гу, а вслед за нею, сжимая ладонями переполненную грудь и улыбаясь безумной улыбкой, туда же взлетит счастливая Элька Шварц...

Смешинка попала мне в глаз...